



ВЕРОНИКА КУНГУРЦЕВА

**ОРИНА ДОМА
И В ПОТУСТОРОНЬЕ**

Самое время!

Вероника Кунгурцева

Орина дома и в Потусторонье

«WebKniga»

2012

Кунгурцева В. Ю.

Орина дома и в Потусторонье / В. Ю. Кунгурцева — «WebKniga»,
2012 — (Самое время!)

«Родители» этой книжки – «Витя Малеев в школе и дома», «Алиса в Зазеркалье», а бабушка – сказка о Семилетке. После того как Орине исполнилось семь, время ускорило свой бег, и девочка из Поселка в течение трех дней стала девушкой и женщиной. Впрочем, все это произошло не дома, а в Потусторонье, которое оказалось отражением прожитой ею жизни. Орина вместе с соседским мальчиком должна выполнить трудные задания, чтобы вернуться домой. Только вот не ошиблась ли она в выборе попутчика...

© Кунгурцева В. Ю., 2012

© WebKniga, 2012

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	7
Глава вторая	14
Глава третья	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Орина дома и в Потусторонье

Вероника Кунгурцева

Часть первая ПОСЕЛОК

Кажется, это был трюм. Было темно, не видно ни зги, но плеск и клекот волн за стеной явственно слышались. Ревущее море было так близко, что он невольно сжался в комок. И поняв, что трюм очень мал, он попытался переменить положение – и не смог: макушка упиралась в одну стену, подошвы – в другую (а ведь он подтянул колени к самому подбородку), за спиной была вмятина тверди, локти оказались притиснуты к бокам. Неужто корабль так мал? Или... или же это он слишком велик для судна? Он постарался припомнить, что было до этого – и не сумел. Тогда – кто он такой? И с этим возникли трудности. Рукой он оцупал лицо – бугор носа, яма рта, глаза, которыми он мигнул несколько раз. Согнул пальцы, и, разгибая их по одному – пересчитал. Пошевелил пальцами ног. Но – откуда он? И – куда плывет? И что – все-таки – было прежде? Он изо всех сил напряг мозги – и... ничего... Темный, как всё здесь, лист. Наверно, ему стерли память. Такое бывает.

Но где же выход? Он попытался на ощупь понять, из чего сделаны стенки – и тут же занозил ладонь... Так, ясно – неошкуренное дерево. Причем щели не прощупывались. Не отыскал он и двери – ни маленькой, ни большой, казалось, трюм выдолблен из цельного куска дерева... Он понюхал стенку: нос упирался в нее – сосна? Или ель? Но... что же это за потешный корабль? И... и как он здесь очутился?

Но тут снаружи что-то случилось: завыл ветер, и его вместе с еловым трюмом переметнуло несколько раз вокруг какой-то оси. Что же это?! Неужто корабль потерпел крушение – и пойдет сейчас ко дну? Волны с шумом бились о внешние стены трюма. Он заелозил руками и ногами, стараясь ударить в стенку, но удары – без размаха – получались слишком слабыми, а стены были слишком прочны. Тогда он заорал: «Спасите! Эй, люди! Есть тут кто-нибудь живой? Эй, на корабле! Выпустите меня!» – Он так бился, извиваясь в тесноте трюма, что в конце концов устал и, отчаявшись, в изнеможении затих.

И вдруг ему ответили. Смачным чихом. Он оцепенел – потому что чихнули совсем рядом, в самое ухо. Может, море ухнуло в сквазину трюма?! Выходит, в трюме – течь?! Но ничего не видать: темно по-прежнему. Или там за стенками – ночь? Но если бы появилась дыра в стене – он бы ощутил движение воздуха или в трюм стало бы заливать. А ведь – ничего... Он дотянулся кончиками пальцев до уха – и пощупал: мокрые брызги от чиха.

– Кто здесь? – спросил он безнадежно и повторил вопрос несколько раз, на разные лады, чтобы послушать звук собственного – резонирующего – голоса.

– Это бочка, – ответил кто-то.

Он задрожал от радости – он мог бы поклясться, что это не его голос и не эхо его голоса – и переспросил:

– Бочка?! О, Бочка, это ты говоришь со мной?

– Я тебя не вижу, – отвечали ему невпопад.

– И я тебя, – сказал он и осторожно поинтересовался: – Разве бочки умеют разговаривать?

– Ха-ха-ха, – засмеялся невидимка. – Да нет, я не бочка. Бочка – вокруг нас. Это мы с тобой в бочке, понимаешь?

Он понял. Он отлично все понял. Он и сам уж догадывался. Значит, их замуровали – и сбросили с какой-нибудь вершины в воду. Выплывут – хорошо, не выплывут – туда им и дорога!.. Но – за что? Что они сделали?!

Так, но как же обладатель голоса поместился в бочке – тут и для одного-то места мало. И ведь он не чувствует Другого – ни рукой, ни ногой, ни спиной, ни боком, ни темечком, ничем. Он и не видит его – так же, как не видит себя. Только слышит.

– Где ты? – осторожно спросил он.

– Это ты где? Ты мне совсем не мешаешь, тут тесно, но я тебя совсем не чувствую.

– И я, – сказал он и повозился, но так никого и не коснулся – только приложился лбом о стенку.

Тут какое-то смутное воспоминание пришло ему на ум: мать и дитя, заточенные в бочке... Но – кто из них мать, кто – дитя?

– Ты – моя мать? – спросил он, смешавшись; голос Другого показался ему женским.

– Ха-ха-ха, – раздалось в ухе. – Вот уж нет.

Он заволновался: потому что уж он-то матерью быть никак не мог, он не помнил, чтобы у него были дети, он ничего про них не знал. Да и... говорил настолько низким голосом, что... Тогда – может...

– Я – твой отец?! – спросил он настороженно.

– Глупости, – отвечали ему. – Ни ты мне не родитель, ни я – тебе.

Помолчали.

– Эй, – спросил он, – а как тебя зовут?

– Я не знаю, – отвечал явно погрузневший голос.

– Вот и я...

Он хотел сказать, что тоже не знает своего имени, но вдруг вспомнил... Вернее, прямо на бархате тьмы, замуравившей взгляд, золотыми чернилами, каллиграфическим почерком кто-то выводил светящееся слово. Это и было имя...

– Меня зовут... – начал он, но внезапно снаружи случилось что-то необратимое – знать, бочку вынесло на берег, иваркнуло о твердь и выбило дно: яростный режущий свет накрыл его с головой, ослепив и замучив.

И еще – разноразличными шумами и голосами, мельтешением предметов, промельки незнакомых тел, какое-то стремительное движение до смерти напугали его... В конце концов он нашел выход: потерял сознание.

Глава первая ИМЕНА

Открыв глаза, Сана огляделся в поисках обломков бочки, но их не было. Наверное, унесло водой. Но морем здесь и не пахло, в этом месте не было даже какого ни-то паршивого озера или пиявочной лужи... Никакой воды, куда ни кинь взгляд.

Он остолбенел, обнаружив, что Берег, куда его выбросило, геометрически прост. Берег – это куб. Правда, куб не был пустым, по краям он оказался заполнен различными вещами и предметами, назначение которых ему было смутно известно. Да и куб, строго говоря, назывался по-другому: да, это жилое помещение, небольшая комната... Он огляделся: видимо, спальня... Или – детская? Первое, что бросается в глаза – спирально закрученная, могучая, толщиной в руку, проржавевшая пружина, с крючком на конце, который вдет в потолочное кольцо, на пружине висит плетеная зыбка, высланная узорчатым рядом, с петлей для ноги. Рядом с люлькой, у стены, – железная койка, закинута лоскутным одеялом.

В следующее мгновение он обнаружил себя сидящим на перекрестии тканых ручек зыбки, зацепленных за второй крюк, которым заканчивалась пружина, заглянул внутрь – и увидел туго запеленатого в лянью байку младенца. Ребенок высунул осторожный язычок и зачмокал, глаза приоткрылись – оказавшись сизыми, цвета дождевой тучи, – взгляд скользнул по нему, как по пустому месту, вдруг лицо младенца покраснело, исказилось, и детеныш так завопил, что наблюдатель свалился со своего поста, правда, к счастью, не расшибся.

Из световой рамы в противоположной стене вышла, поспешая, женщина в цветастом халате, включила вокруг себя яркий свет, вынула головастый сверток из зыбки, косо прижала к себе и, устроившись на койке, выпростала из-за края ткани маленькую, округлую, с голубоватым руслом вен, с протоками молочных ручьев, грудь. Сообразительное дитя мигом нашарило ртом спелую ягодину соска. И зачмокало.

Сана – ни жив ни мертв – остался сидеть на стремени зыбки, по инерции качавшейся вверх-вниз, ожидая, что вот-вот будет обнаружен и раскрыт. Но женщина – не видела его! Хотя взгляд ее блуждал по комнате, иногда зацепляясь за него – ведь он сидел прямо перед ней. Он попробовал заискивающе улыбнуться или взмахнуть рукой дескать, привет! не пугайтесь! – но ничего у него не вышло. Махать было нечем, и улыбаться – тоже. В один страшный миг он понял, в чем причина: у него отсутствовали руки и рот... да и все остальное тоже! Выбравшись из бочки, он перестал быть человеком... Каким-то невероятным образом он ощутил, что из себя представляет: небрежно смотанную, шевелящуюся проволоку, очёски спутанных облачных нитей – все в наузах, яйцеобразный серебряный вихорь... Таким он себя понял – но, к счастью, женщина не видела его и таким. Как будто он забился в некую воздушную щель, в мышиную озоновую нору, в тщательно залатанную прореху здешнего пространства. Сана закричал – страшнее, чем голодный младенец перед тем, – но эти двое, занятые друг другом, его не услышали!

Он попробовал закрыть глаза, чтобы забыться, – и не сумел, глаз-то не было! – он вынужден был сидеть и тупо смотреть на кормление. Тогда он решил удалиться и шаровой молнией выбросился в окошко, не разбив – о, даже и не почувствовав стеклянной преграды, – и улетел под самую тучу, готовую рассыпаться на множество азбучных снежинок, которые сложатся внизу в слежавшиеся сугробы никем не понятых книг. Но дальнейшего пути не было: он разматал сам себя до предела... И в один миг очутился там же, откуда прынул: на стремени зыбки. Он что же – пришит к этому месту?! Сана пригляделся: начаток его проволочного тела тянется из правого уха младенца... Значит... значит он привязан к Нему?! Как эта гнусная спиральная пружина, лезущая из потолка, соединена с колыбелью, так и он – с Ним?..

Женщина в это время положила детеныша на место и, сунув ногу в новехоньком желтовато-белом туго натянутом шерстяном носке в петлю, стала качать зыбку, напевая:

– Ой-люлёши-люленьки, прилетели гуленьки, стали гульки ворковать, мою деточку качать... И-и!..

Каторжник – вот как это называется! Он – каторжанин, а это – место каторги. Остров. Земля! Впрочем, младенец мало чем отличается от него, он – тоже прикован к нему, Сане, хотя... хотя и не знает об этом. Пока.

Тут женщина решила перепеленать новорожденного – Сана с любопытством стал смотреть: под раскинутой треугольными крыльями байкой обнаружился дурашливый ситец, тоже откинутый влево и вправо; вздутый от мочи комок желтоватой марли, сунутый младенцу между не разгибавшихся ножек, женщина достала и вместе с мокрыми пеленками сбросила в угол – а на свету оказался знак пола. Это была девочка... Тьфу! Он готов был выругаться: только этого ему не хватало для полного каторжанского счастья! Оказаться на этапе с женщиной – а младенец рано или поздно, вернее в свой срок, станет ею, – врагу не пожелаешь! Впрочем, мелькнула позорная мыслишка, можно ведь освободиться раньше, не мотать срок до конца, это в его власти... Но Сана тут же отогнал зудящую мысль: да, в его власти, но... не положено!

Женщина вышла, оставив младенца – замотанного в тугие пелены, точно солдатская нога в портянки, – одного. Ребенок лежал, уставившись в дощатый потолок с темным лесным рисунком срубленных некогда сучьев – не имея возможности смотреть куда-либо еще.

Сана некоторое время понаблюдал за девочкой, а потом попытался заговорить – но, как и следовало ожидать, она его не услышала, а если услышала, то ни словечка не поняла, во всяком случае не ответила, даже взглядом... Пара фиалковых глаз и крохотный – точно третий глаз – роток, составляли равнобедренный треугольник лица, с перевернутой вершиной.

Тут он заметил, что с ребенком не все в порядке – знать, младенец не отрыгнул остатки молока, неопытная мать не подержала дитя столбиком, как положено, не положила на бочок, – и вот результат: сейчас ребенок – его подотчетный ребенок! – задохнется! Что же делать?

Он испытал вдруг подлинный ужас: этап, не успев начаться, мог закончиться... Хотя сам не далее как несколько минут назад – мечтал об этом... Но одно дело мечтать – а другое... Или мысль – его мысль – материальна, и желание тут же исполняется?... Нужно что-то немедленно предпринять – но что?! Что он может сделать без рук, без ног?! Он юркнул в дверной проем, который принял вначале за раму картины, – и оказался в соседнем, пустующем помещении. Оттуда, уже сквозь мощную преграду печи, – искать легких путей не было времени, – рванул в кухонный кут: тут сидела разомлевшая преступная мать, преспокойно попивавшая чаёк пополам с козьим молоком!

Сана, не зная, что предпринять, не нашел ничего лучшего, как вломиться в правое ухо женщины – нырнул в барабанную полость и, миновав пещеру, по ушному лабиринту, через окно улитки и преддверный нерв проник в кору головного мозга. Там – голосом самой женщины – он запел колыбельную: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за *Бочок*, и ухватит за *Бочок*...»

«Ребенка нужно класть на *бочок*, а под спину – скатанный из пеленок валик...» – всплыла наконец у беспели спасительная мысль. Женщина тут же подхватила – и кинулась к оставленному младенцу: тот уж почти задохся, мать подняла его, перевернула книзу головой и принялась трясти. Рвотные массы выкинуло наружу – глотка ребенка освободилась для дыхания, и девчонка тут же заверещала.

А Сана, пятясь как рак, выкатился из уха на волю – встряхнулся, постаравшись вернуть себе прежнее вихре-образное обличье: его заплело в чужой голове зигзагами, точно высокогорную дорогу.

Он так устал, что не заметил, как откинулся – в последний момент сумев все ж таки закатиться под кровать, чтоб никому не попасться под ноги.

Пришел он в себя от шума голосов и хлопанья дверей – над ним тюремной решеткой раскинулась проржавевшая сетка кровати, придавленная периной и провисшая посередине.

Младенец преспокойно спал в своей расписной зыбке. Сана скользнул в прихожую, взлетел – никем не замеченный – на голую, висевшую на длинном шнуре лампочку – и сверху принялся наблюдать за происходящим.

В дверь ввалилась, отдуваясь, бабка девочки Пелагея Ефремовна: пришла-де с базара, в Агрыз ходила, десять километров туда да десять обратно, ну-ка посчитай! А ведь не молоденькая уж, но, слава богу, все яйца продала, пошли нарасхват, ни одного не побила!

Мать младенца, суетясь, помогала бабке снять с плеч котомку, – кликали ее Лилькой. Не успела Пелагея опростать котомку и с толком рассказать про торговлю, как прибыли еще двое: младшая дочь Пелагеи и тетка девочки – Люция с мужем Венкой. Дядя и тетя небрежно, но с тайной гордостью вывалили на длинный стол, застланный клеенкой с выгоревшим рисунком, связки баранок, банки с тунцом и сгущенкой, пачку индийского чая: дескать, в заводской лавке продавали, на «Буммаше», и это еще что – Венке, дескать, со дня на день обещаются квартиру дать! Сана заметил, что и вторая сестра черевоста. Приглядевшись, он увидел и плод: тоже девчонка!

А Лильке было не до гостинцев, не до чужих квартир: не терпелось показать сестре новорожденную. И вот Люция поспешила в спальню-детскую и, склонившись над зыбкой, взвизгивая, принялась дивиться на невиданную и неслыханную красоту младенца: дескать, а чей это у нас такой носищечка, а чьи это у нас такие крошечные пальчики, а чей же это у нас ротанюшка... Сана успел спланировать ей на макушку и теперь хмурился: с каждым восторженным словом из глаз женщины сыпались и, буровя кожу его подопечной, проникали в тело – крохотные создания, похожие на пиявок с оскаленными личиками... Но Пелагея Ефремовна не дремала: она принялась сплевывать и стучать по столу, а после показала младшей дочери смачный кукиш: от чего микробные создания истаяли – и, в конце концов, бесследно растворились в кровотоке младенца.

– Чего ты мне кукиши-то кажешь? – возмутилась Люция. Пелагея в ответ многозначительно заявила:

– Перо скрипит, бумага молчит...

– Я не бумага, – оскорбилась младшая дочка. – Это на Венкином заводе машины выпускают, которые бумагу будут делать, а я покамест не бумага, на мне никто ничего не напишет... И молчать я не собираюсь! Лиль, а зачем ты ребенка в удмуртской зыбке держишь? – обратилась тут Люция к сестре, и, понизив голос, добавила: – Скажут, вотянка рыжая...

– С какого боку вотянка-то?! – изумилась мать младенца. – Андрей – русский, я – тоже. И не рыжая она вовсе, темненькая, вот смотри...

– Мало ли... Найдут, с какого... А волосики у девочки всё ж таки не черные – а каштановые. Эх, деревня вы, деревня! Не могли в Город за детской кроваткой съездить?!

– Да некогда было... – стала оправдываться Лилька. – Да еще найди-пойди в твоём Городе кроватку-то, не на каждом ведь углу их продают! И как ее тащить из Города? Лошадь надо просить в Леспромхозе: дадут – не дадут... А тут Маштаковы за так отдали зыбку. А что: красиво и удобно!..

Сана был совершенно с ней согласен; и еще: в древнем ромбическом узоре покрыва зыбки ясно читалось, что зыбочник, в ней прописанный, будет крепко спать, весел будет и здоров.

– А как назвали ребенка? – подошел замешкавшийся где-то дядя.

И у Саны, как тотчас выяснилось, оказалась непереносимость на спиртной дух: он скаптался с теткой макушки, попытался вплестись в перекинутую на грудь косицу Люции, – но не сумел и упал на щеку младенца, где съежился в слезинку, окутанную туманом. И увидел

произошедшее с дядей: пока женщины толклись возле ребенка, Венка успел сбегать в сенцы, там в медогонке была у него припрятана чекушка, – и хорошенько к ней приложиться.

– Пока никак, – отвечала Лилька. – Ждем отца.

Люция поинтересовалась, когда ж Андрей прибудет?..

Бабка Пелагея отвечала: дескать, батюшке все ведь некогда, экзамены взнуздали, гонят-погоняют, не дают поглядеть на дитёку!

– Сдаст – и приедет. Скоро уж, – говорила молодая мать. – Зато как выучится – будет журналистом!

– Хвастать – не косить: спина не болить! – тотчас откликнулась бабка и еще подбавила: – Кем хвалился – тем и подавился...

А Люция завистливо вздыхала: дескать, небось в столице будете жить – журналы ведь из Москвы поступают, только там их и печатают...

– А где ж еще-то?! – горделиво поводя плечами, отвечала Лилька. – На самой Красной площади и поселимся.

Дядя Венка вдруг стремительно вышел и вернулся с фотоаппаратом. Люция поглядела и покачала головой: дескать, вишь, фотик купил, ползарплаты истратил, теперь забавляется – чисто юный натуралист! Венка, примерившись, щелкнул сестер, склонившихся над зыбкой, после распеленатого младенца, на щеке которого слезинкой сиял Сана, который, по примеру сестер, попытался улыбнуться «вылетающей птичке» – правда, безуспешно.

Сану очень заинтересовал аппарат, запечатлевающий людей в отрезанные миги, – он полетел вслед за Венкой, а тот велел бабке:

– Ну-ка, теща, улыбочку!

Пелагея, сидевшая на корточках подле печи и совавшая поленья в огонь, обратила к зятю лицо в дрожащих отсветах пламени и отмахнулась: дескать, вот еще – нашел, кого фотить, иди, дескать, девок сымай!

...В воскресенье Венка отправился проведать отца с матерью. Бабка Пелагея пошла в магазин за хлебом. А Люция уселась за ножную машинку и принялась сострачивать привезенное с собой шитье: широкое в поясе темно-синее штапельное платьице, с белым воротничком, заканчивавшимся тесемками. Лилька в смежной прихожей, примостившись с краю длинного стола, писала в общую тетрадку поурочные планы, то и дело обмакивая перо в чернильницу: пора было выходить на работу.

Люция, под стрекот чугуновой, с выкованными узорными папоротниками, подножки, – которая стремительно гналась за тактом и то и дело вырывалась вперед, – чистым голоском выводила:

Чуть охрипший гудок парохода
Уплывает в таежную тьму,
Две девчонки танцуют, танцуют на палубе —
Звезды с неба летят на корму.

Сана заслушался: а голос вдруг вырос – и заполнил весь дом; даже Лилька, бросив свои планы, вышла из прихожей, встала в дверях – и принялась тихонечко вторить:

А река бежит, зовет куда-то,
Плывут сибирские-э девча-ата
Навстречу утренней заре
По Ангаре, по Ангаре!
Навстречу утренней заре
По Ангаре!

...Тетя с дядей к концу выходных скрылись в неведомом Городе, через пяток дней вернулись, опять уехали. А отец младенца все не являлся, зато понаведалься соседская девчонка Олька, заставившая Сану поволноваться.

Проскользнув в горницу с зыбкой, когда в ней никого, кроме него, не было, Олька на цыпочках прокралась к люльке и, склонив ухо к плечу, некоторое время изучающе рассматривала куксившегося младенца, потом, покачав головой, сказала:

– Не колмят тебя, да? Голодом молят... Ох, они нехолёсые! Ницё, сейчас мы это исплавим, сейчас мы тебя нако-олмим... – сунула руку в кармашек рябенького пальтишки, достала кусочек хлебца, и, отщипывая от ломтя крупные крошки, принялась, к несказанному ужасу Саны, методично заталкивать их в рот изумленному младенцу.

Сана ласточкой облетел все помещения избы, облитые белым зимним светом, – но в доме никого, кроме кошки Мавры, томно развалившейся на лавке, не было. А от кошки – какой толк? Вырвался во двор – и здесь никого, наконец, за воротами он обнаружил бабку Пелагею, которая, сняв ведра с коромысла, как ни в чем не бывало разводила тары-бары с матерью Ольки. Сана, по уже проторенной дорожке, влетел в правое ухо старухи и, внедрившись в ее сознание – рассусоливать было некогда, – грозным голосом покойного Пелагеиногo тятки рявкнул:

– Гусыня зевастая! Всё ведь прозевашь – а ну живо домой!.. – Подумал и прибавил: – Серый волк под горой!

После третьего «волка» бабка Пелагея, не привыкшая внимать внутреннему голосу, все ж таки послушалась, распрощалась с соседкой – которая как раз хватилась своей бедокурной дочки, – и обе ринулись в дом, едва ведь успели!

Когда изо рта младенца был выковырян последний кусок мякиша, едва не проникший в дыхательные пути, женщины, охая и стеная, повалились на кровать. Олька, которой досталось от матери по первое число, успела выскочить на улицу и баском, на одной ноте, ревела под окошком, время от времени прекращая рев – чтобы в паузы контрабандно полакомиться с узорчатой варежки свежевывавшим снежком, отдающим запахом шерсти.

Бедному Сане – в отличие от часового, охраняющего секретный объект, на смену которому обязательно приходит другой часовой, – сменщика не было! И покоя тоже не было – ни днем, ни ночью. А ведь это только начало: младенец даже еще не ползает, лежит поленом. Впрочем, ему казалось, что первые дни – как и первые годы – самые тяжелые. Дальше небось легче будет...

Время, подтачиваемое кружением солнечного шара, неумолимо двигалось: девочка уж гулила, уже пыталась перевернуться на живот, – а отец младенца все не приезжал. Бабка Пелагея ворчала, что пора уж дать робёнку имя, а то станут кликать Безымкой. Сана знал, что у ребенка есть тайное рекло – мать с бабкой нарекли девочку Крошечкой (известно почему), мать, наедине с дочкой, так ее и звала, но при людях рекло произносить воспрещалось, требовалось официальное имя, которое запишут в свидетельстве о рождении и которым девчонку станет окликать всяк и каждый.

Наконец, когда на очередные выходные вновь прибыли из Города тетя с дядей, субботним вечером, аккуратно после бани, за длинным столом в прихожей собрался семейный совет.

Первой слово взяла Пелагея Ефремовна, которая сказала, дескать, ее бабушку звали Варварой, и многозначительно добавила: она-де с этим именем дожила до ста с лишним лет...

– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали! – тут же парировала Люция.

Лилька нерешительно сказала:

– А может, Ирина? Красивое имя...

Сане тоже понравилось.

– Будут звать Орина-дурочка, – поджала губы бабка Пелагея.

– Ну почему же, мама? – запротестовала Лилька. – Орина-дурочка уж померла давно, кто ее помнит?

– Я помню. Ты вон помнишь. Все помнят. И когда давно-то?! Всего только лет десять назад... Или восемь?! И после нее Орины боле не рождалось ведь. Как пить дать, скажут: вторая Орина-дурочка объявилась!

– Но это же совсем другое имя, – уперлась мать ребенка. – То – Орина, а это – Ирина...

– Какое другое – такое же!

Тетя Люция, покосившись на дядю Венку, – который, пока шли прения, под сурдинку замахнул уже пятую стопку самогонки, наливая себе из традиционного субботнего графина, – не вынесла и, прикрыв ладошкой очередной стопарик, напористо сказала:

– Очень, я вам скажу, красивое имя – Каллиста!

Раздосадованный дядя Венка воскликнул:

– Что это за имя такое – Каллиста?! – расцепил по-одному женины пальцы, высвободил стопку, выдохнул, тут же опрокинул в себя – и скосоротился.

Люция, поджав губы, сказала:

– Это хорошее имя – греческое! Хозяйка квартирная, библиотекарша, говорила, что нимфа такая была в Греции... – И повернулась к сестре: – Если тебе, Лиль, не подходит, я тогда свою дочь так назову!

– У нас сын будет! – стукнул кулаком по столу Венка. – Василий!

– Ага, как дружок твой, Васька Сажин, алкаш, тоже еще – нашел Василия... Даже и не думай! Нашу девочку будут звать Каллистой! – и тетя Люция погладила себя по тугому, как барабан, животу.

– Саму зовут не пойми как, – проворчал, наливаясь мутной злостью, дядя, – и эту... тьфу!.. этого хочет...

– Ой, на себя-то бы оглянулся: Вениамин И...

– Сколько раз просил не называть меня по отчеству! – заорал дядя и во второй раз шваркнул кулаком по столу.

Тут Пелагея решила вмешаться в семейную сцену:

– Люция – это часть революции. С моей-то в один день и час парнишко народился – так мы и сговорились с его матерью: парня назвали Рева, а девка, значит, – Люция. Ну а вместе: Революция!

– Слыхали уж сто раз!.. – проворчал дядя Венка. – Да... ошибочка вышла...

– Ну да, – кивнула Лилька, – слово с ошибкой получилось: Ревалюция...

– Ошибочка в том, – уточнил дядя, – что *Революции* не получилось: она *моя* жена-то, не Ревина...

По лицу Люции судорога пробежала: изо всех сил тетя пыталась сдержаться, не произнести роковых слов, но не стерпела – и выговорила:

– Может, еще не поздно ошибочку эту исправить...

Дядя Венка обомлел, вытаращил глаза и, взревев как бык, вскочил, сдернул скатерть – постеленную ради субботнего собрания – со всем, что на ней стояло (успев, правда, на лету подхватить и аккуратно поставить на оголившийся стол ополовиненный графин), оглянулся – схватил подвернувшееся полено... Люция заверещала и через порог скакнула в сени, Пелагея Ефремовна, охнув, раскинула руки крестом, заслоняя собой дверь, но Венка свалил бабку, столкнул с пути викавшую Лильку и выскочил в сенцы, после во двор, и – за ворота, где неведомо куда неслась по снегу его босая жена.

Сана летающим диском метнулся следом, вломился в сознание дяди Венки, но тут все было так искажено и изгажено, что ему страшно сделалось... Задыхаясь от спиртного духу, который кромсал по-своему все его слова, Сана попытался стать голосом разума, по-матерински уговаривая Венку: дескать, беременная она, твой ведь ребенок-то в ней, будущее свое ты

гроишь, что ты делаешь-то, Венка, опомнись! остановись! брось полено! не простишь ведь себе, изведешься, измаешься и вконец себя погубишь...

Напрасно...

– Бей, бей ее! Не ударишь – не простишь себе и вконец себя погубишь, – отдавалось в затуманенном мозгу.

Венка нагнал жену, прикрывавшую живот, у колодца, размахнулся – ребенок вертелся в утробе и так, и этак, пытаясь хоть как-то укрыться в безысходности норы... Но Венка тут саданул поленом – и попал по головке нерожденного...

Прибежала бабка Пелагея, следом Лилька: Люция сидела, косо привалясь к колодезному срубу, Венка, закрыв лицо руками, стоял над ней. Полено валялось у Люции в ногах, в окропленном кровью снегу.

Сана, чуть живой, выкатился из смрадных глубин Венкиного сознания – и рывками пополз к месту приписки.

Глава вторая ДАРЩИКИ

Тетя Люция разрешилась мертвым младенцем. Сана смотрел на мертвушку со стремени неусыпно охраняемой зыбки. В раме-проеме тихой соседней комнаты, в глубине её, в углу дивана с лопнувшей пружинной, под сумеречным окошком лежал, замотанный в блекло-голубое рифленое покрывалко, навёнок. Картину смерти нельзя было закрыть – двери между смежными комнатами не имелось. Сана, удвоив бдительность, безотлучно сторожил своего младенца: боялся, что заскучавшая Каллиста может позвать двоюродную сестрицу с собой.

Время от времени откуда-то прибежал Венка, падал на колени и навзрыд плакал над тельцем, крича, что никогда больше у него не будет такой красивой дочки, не хотел отдавать тело, но, поддавшись уговорам бабки Пелагеи, все ж таки отдал. Мертвушку положили в сосновый гробик; трезвый как стеклышко отец повесил на грудь ФЭД и, откинув кружевной подзор с лица девочки, принялся самозабвенно щелкать неживую дочь: в профиль, анфас – на память.

Наконец мертвую увезли на кладбище, а живые стали приходить в себя и занялись неотложными делами. Днем Лилька съездила в район, записала дочку по-своему – Ириной, а ночью...

Сана просто изнемог в противоборстве с Каллистой, так и норотившей влететь в чужое помещение, чтобы «поиграть» с живой сестричкой – и теперь, расслабившись, отдышал, отринув от себя все земные впечатления. Проще говоря, он стал вещью: вселился в фарфоровую фигурку Купальщицы, стоящую на этажерке, между матово поблескивавшим в лунном свете бурым медведем и белой фарфоровой гусыней, с красным носом и лапами; эти статуэтки на его памяти ни разу не трогали, даже пыль с них не стирали. А Купальщицу он выбрал потому, что мыслил себя человеком, но уж никак не птицей и не зверем...

А ровно в полночь – кукушка, порциями отмерявшая время, едва успела вернуться в часы – началось...

Форточка сама собой распахнулась – пожаловал тятка Пелагеи Ефрем Георгиевич, в порванном в клочки пиджаке и потертом картузе. Старик, явившийся первым, уселся во главе длинного стола, который оказался покрыт кумачовой скатертью и уставлен всякими лакомыми яствами и питиями. Только успел Ефрем Георгиевич взять в руку ложку, чтобы зачерпнуть наваристых штей, как к столу, подволакивая ногу, подтянулся солдат в пилотке с красной звездой и плащ-палатке. Поздоровался и представился: дескать, я со стороны отца именинницы, а звать-де меня Сашкой.

Не успели выпить за знакомство, как в трубе что-то завывало, заулюлюкало, и из печи – с танцевальными вывертами – выскочила настоящая дама: платье-то широкое, такое, что ближе чем на метр не подступишься, а на голове – розовая шляпа со стоячим пером, которое потолок метет. Правда, из-за того, что дама, подобно пирогу, выскочила из печи, подол ее белого платья был малость подкопчен, да и щека оказалась запачкана.

Ефрем Георгиевич, видать, водивший знакомство с дамой, – проворчал:

– Ну опять эта зараза, явилася! Вот как ведь чует!

Дама же, отряхнув подол, подернула голым плечом и сказала:

– Попрошу мне тут без «зараз»! – и, мило улыбнувшись Сашке, протянула ему руку над кринолинами: – Мими!

– Дедушка со стороны отца, – представился солдат. Мими выпучила глаза и взвизгнула:

– Дедушка – а с виду такой хорошенький мальчик!

– Мне двадцать лет, – смутился Сашка и хлопнул рукой по лавке: – Садитесь, товарищ, – а взглянув в лицо расфуфыренной барыньки, учтиво заметил: – У вас пятнышко на щеке...

Мими ойкнула, достала из-за лифа кружевной платочек и бросилась к зеркалу, которое висело в простенке между окошками. Но, как и следовало ожидать, не увидела своего отражения и вскрикнула: дескать, ах, какая неудача, не видать пятна-то! И протянула платочек солдату, дескать, не затруднит ли вас... Сашка, без долгих разговоров, стер со щеки печную сажу и даже платочек выстирал под рукомойником и повесил на веревку подле печи – сушиться.

– Ах, какой галантный! – воскликнула счастливая Мими и, покосившись на Ефрема Георгиевича, добавила: – Не то что некоторые! – и наконец-таки уселась за стол, причем край своего пышного подола закинула Сашке на галифе.

Раздалось: дзынь, бряк – как вроде банку с вареньем расколотили – из сеней, обычным порядком, дверями, правда, споткнувшись на высоком пороге и чуть было не грохнувшись, ввалилась малорослая рябая девка-нищенка, замотанная в несколько платков, молча прошлепала к столу, уселась напротив Сашки и тут же принялась наворачивать за обе щеки. Ни *со свиданьем*, ни *доброй ночи* – не сказала...

– Эта невежа – Марфа, – представил девку Ефрем Георгиевич.

А та только еще ниже склонилась над тарелкой, с хлюпаньем втягивая с ложки суп и с чавканьем жуя ноздреватый хлебушек. Старик покачал головой, вздохнул, после оглядел застолье, перевел взгляд на часы, откуда опять выскочила – без спросу взяв слово – кукушка, и спросил:

– Все, что ль? Или еще кто пожалует?..

Мими повела красивыми плечами, а Сашка сказал:

– Времени-то у нас, я так понимаю, не очень много – может, начнем собрание? Кто «за», прошу поднять руки...

Мими тут же вытянула напоказ свою беломраморную ручку – правда, оказалось, что под каждым ногтем у нее по черному полумесяцу. Марфа только поглядела из-под низко надвинутого платка – ничего не сказала и руки не подняла. А Ефрем Георгиевич одернул солдата: дескать, он тут человек новый, порядков не знает, поэтому должен слушаться приказов, председателем собраний завсегда бывает он, Ефрем, а солдат-де может протокол вести, ежели, конечно, грамоту знает...

Сашка пожал плечами: дескать, как не знать! Оглянувшись в поисках письменных принадлежностей... Марфа молчком поднялась, принесла из соседнего помещения чернильницу-непроливайку, ручку с насадным пером и общую тетрадь в клеточку – правда, тетрадка была исписанная: с планами уроков, – и молча сложила все перед солдатом, предварительно сдвинув в сторону Сашкины обеденные приборы.

– Считаю собрание открытым, – начал председатель, но не успел договорить...

Сквозь щель в полу дымом просочился – но тут же материализовался еще один пришелец: тощий, как штaketина, и, как штaketина же, серый, побитый непогодой. Оглядевшись, новичок прошел и сел с торца стола, напротив Ефрема Георгиевича.

– А вы кто ж такой будете? – спросила Мими. – Назовитесь уж... А то как-то...

Мужик, прикрывавший горстью нос со ртом – как будто у него была волчья пасть да заячья губа, – несколько раз надсадно вдохнул-выдохнул и, не глядя на председателя, резонирующим голосом – как вроде в горле у него был пристроен бурятский народный инструмент хур – протренькал:

– Я тоже со стороны отца, только по другой линии... прадед я... Сорок дней всего как... Рак гортани. Ничего пока не знаю... Вот прислали сюда...

– Ладно, – кивнул Ефрем Георгиевич и поднялся. – Думаю, все в сборе! Тогда, пожалуй, продолжим! Итак, на повестке ночи у нас один вопрос: о выделении дажды новоназванной Ирине свет Андреевне. Слово предоставляется...

– Я, я хочу сказать! – выднувшись с места Мими. Но председатель щелкнул ее ложкой по лбу – не высказывай без спросу – и с мрачным видом оглядел собрание:

– Слово предоставляется... Марфуше. Рябая девка поперхнулась, закашлялась, поднялась и, отхекнувшись в последний раз, сказала:

– Я, значить, хочу наградить новопоселенку красовитостью, чтобы, значить, была девка – кровь с молоком...

– Хорошо, – кивнул председатель. – Это всё?

Марфа кивнула, села на место и вновь принялась с присвистом хлебать шти. Солдат старательно заносил все сказанные слова в тетрадку – писал наискось, поверх поурочных планов (тема урока: плюсквамперфект – предпрошедшее время). Мими в нетерпении постукивала носком туфельки по длинному бруску, с-под низу крепившему стол. Ефрем Георгиевич, с одобрением поглядывая на радивость секретаря, спросил у собравшихся:

– У кого еще какие предложения касательно нашего вопроса?

Мими потерла шишку на лбу и смолчала, а Сашка, оставив писанину, поднял руку: дескать, можно мне? Председатель кивнул, солдат встал, запахнулся поплотнее в плащ-палатку и произнес:

– Пускай отважной будет, женщине это тоже пригодится... Ну, такой вот: которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»! И еще чтобы верная была.

И Сашка с чувством прочитал стих:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...

Мими, забыв про карающую ложку, восторженно воскликнула:

– А я как раз такой ведь была!.. Готова была ждать хоть вечность! Да только... пришлось пойти по скользкой дорожке... Продал меня ухажер в... один дом, нет, не хочу вспоминать – тошнехонько!.. И я знаете что хочу дать имениннице...

– Дать – не устать, да было бы что! – со значением произнес тут Ефрем Георгиевич, но после благосклонно кивнул: дескать, ладно уж – говори, разрешаю, правда, торопливым шепотком прибавил: – И желательно, чтоб никаких носов! У ней уж есть нос. А то опять будут два носа, как в тот-то раз...

И Мими, несколько подумав, сказала:

– Послушливая пускай будет – вот что, трудолюбивая и... скромница. И... и еще чтобы никто никогда не возвел на именинницу клеветы, как на меня когда-то...

Ефрем Георгиевич крякнул одобрительно – видать, никак не ожидал от Мими такого подарка, и все взгляды обратились к новичку.

– Я?! – мужик, по-прежнему прикрывавший низ лица ладонью, поднялся и заиграл на своем горловом инструменте: – Ну что... Хочу пожелать правнучке, чтобы... не довелось ей поднять руку на... божью тварь: ни на человека, ни на собаку... Вот такое есть мое пожелание!

Сашка же, сев на место, вновь строчил в общую тетрадь – только переворачиваемые страницы шелестели; Мими, пытаясь прочесть, что там, заглядывала к соседу из-за локтя, запахнутого плащ-палаткой.

– Хорошо, – поднялся председатель. – Видать, все высказались... Теперь я скажу свое слово... У нас в роду, это многим известно, черта есть: поперечливость, али, по-другому сказать – упрямство! Может, и хорошая черта – но... это с какого боку поглядеть... Много она нашему брату и сестре напастей принесла и бед... Я через то упрямство, можно сказать, раньше, чем надо, свет покинул – на эту сторону перешел... Говорили мне, что больше надо брать сопровождающих, когда мы обоз-то с хлебом для рабочих везли... А я, дурак, настоял на своем – нет, сами-де управимся: вдвоем с племянником... Чего, дескать, бояться-то, кого?! И вроде уж не вовсе голодный год-то был, 34-й... А вот... Бандиты напали, думаю, что из Зонова, это село всегда было бедокурное, и много их оказалось против нас-то двоих! Племянника сзади схватили за пиджак (а пиджак я ему свой дал на выход, дескать, в Город ведь едем!), велик он ему был, да и не застегнут спереди, племяш взмахнул руками, выскочил из рукавов-то, и – дёру, только пиджачина у гадов и осталась... Обрезов-то, ружей-то не было у кулаков, а бегал племяш будь здоров: не догнали! Через лес махнул, и – на станцию, а там телефон имелся, позвонил куда надо... Приехали – да... не успели... Вот: всего ножиками истыкали, сорок две колотых и резаных раны!

Ефрем Георгиевич не стал пиджачную рванину распахивать, только подернул плечами – и из порезов кровь стала сочиться, пропитала ткань, закапала на пол, хоть ковшик подставляй...

Отжав полы пиджака, а руки вымыв под рукомойником, председатель договорил:

– Так вот, мое пожелание имениннице такое: чтобы не было у ней родовой нашей черты, поперечности-то этой!.. Ну и... вдобавок к этому хочу пожелать, чтобы грамоту знала...

– Сейчас они все грамоту-то знают, – не отнимая руки от лица, задрезжал новичок. – Поголовная грамотность ведь у нас...

– Ну что ж... – почесал в голове председатель. – А тогда... пушай вот что: богатой пушай будет и это... и знаменитой! На рожке пушай дудит лучше всякого пастуха!

Все захлопали – даже Марфа оторвалась от штей, а Мими, вскочив, в ажиотаже закричала:

– Шампанского! И – в Яму! – и своим крашеным розовым пером, прикрепленным к заливчатской шляпке, смела паутину в потолочном углу, разорвав паучью растяжку. Паучок по полупрозрачному канатику принялся спускаться вниз – и повис над столом.

И шампанское тут же явилось, пробка сама собой торкнула в потолок, бутылка резко накренилась – и в подставленные бокалы с шипением полилась пенная пузырьчатая жидкость (паучок еле спасся, резко взяв вправо). Но не успели дарщики опорожнить бокалы – Марфа, прежде чем выпить, недоверчиво приюхивалась к жидкости, – как вдруг...

Сана – нелегально, агентом охранного отделения присутствовавший на сходке, – увидел, что фарфоровый медведь, стоявший по левую сторону от него, с поднятой лапой, которой он собирался шваркнуть по рыбине, неосмотрительно высунувшей из фарфоровой трубы голову, задрожал, по всему медвежьему телу трещины пошли, как будто внутри статуэтки шевелилось, пытаясь выбраться, что-то невместимое, и... разлетелся косолапый рваными осколками по комнатам.

А с этажерки спрыгнула на диван, а после соскочила на пол, упав и сильно расшибив коленку... Каллиста. Голубое покрывалко было надето на мертвушку, как туника, на головке кружевной чепчик, а личико искажено болью и смертельной злобой.

Каллиста, неумело перебирая никогда не ходившими кривенькими ножками, побежала в смежную комнату, вскарабкалась на свободный стул, и потянула ручонку к бокалу Мими.

– Кто это?! – воскликнула дама, отводя бокал с шампанским в сторону.

Мертвушка заплакала – уа, уа, уа – и прошамкала беззубым ртом:

– А почему меня не похвалили? Шоблались тут, подалки лаждают, шампанское глушат, а меня не жовут?! Шами-то пили-ели в швоей жизни, школько хотели, а я? Я ведь тоже хочу,

я-то никогда уж не поплобую шампаншкого, и вообще ницего... Даже молоцка мамкиного... а-а-а-а...

– Я тоже этой гадости никогда не пробовала, – сказала Марфа, кивая на шампанское. – И нисколь не жалею!

– А я жалею! – с перекошенным личиком закричала Каллиста. – И меня – поцему не пожвали?! Поцему? А? – мертвушка положила подбородок на край стола.

– Сюда никого не зовут, все сами приходят, по своему желанию, – сказал Ефрем Георгиевич.

Марфа закивала, наклонилась над девочкой и горячо зашептала:

– Вот и ты пришла, невинно убиенная, ангельская душа... Мы с тобой обои пострадавшие... У меня головушка-то тоже ведь пробитая... Да и Ефрем с Сашкой-солдатом – которого на войне стрелили, – мученики. Только мы с имя много чего повидали перед смертью, а ты в неведении осталась, удачница ты! Зла не видела земного! На небо полетишь!

Паучок, сорвавшийся было с паутинки, отыскал уцелевший обрывок и, перебравшись на него с круглого края бутылки, отважно пополз кверху, на ходу хозяйственно сматывая паутинный канат себе в брюхо; полз циркач под самым носом Мими. Та скосила глаза и некоторое время наблюдала, а когда невежа перелез ей на нос, взвизгнула и, прихлопнув паучка, затараторила: а я, дескать, тоже мученица, ну и что, что от венериной болезни погибшая, а не от топора! Думаете-де, сладко без носу-то ходить, когда все в тебя пальцем тычут? Ох, горько это, а заживо-то гнить да смердеть еще гаже! Смерти-то ждешь, как избавленьица! – и пощупала свой носик – на месте ли он (нос, в отличие от паучка, был цел).

– А кто от рака помрет – тот тоже мученик, мне так сказали! – вмешался мужик с голосом-инструментом. – Мне обещали, что я своим нечеловеческим страданьем перечеркнул грех...

– Кто сказал? – машинально переспросил председатель.

– Ну, так... – замялся новичок. – Люди сказали...

Мими стала хохотать, а мужик, покосившись на нее, загорячился и, отняв руку от лица, – которое оказалось вполне обычным: ни волчьей пасти, ни заячьей губы, ни даже страшных следов раковой опухоли не имелось, – протрубил:

– Из верных источников стало известно! Мне передали... Мне обещали! Бояться, мол, нечего!

– Ну, раз обеща-али, – протянул Ефрем Георгиевич и направился к новичку.

А тот вновь прикрылся ладонью, пробормотав: дескать, у меня трубка в горле специальная, с ней и похоронили...

Тут председателя отвлекла забытая было Каллиста, она с ножками взобралась на стул и махнула ручонкой в сторону последней горенки, где в своей чудесной зыбке благополучно дрых младенец, прокричав:

– Вы к ней плилетели на именины! И день ложденья у ней есть, а у меня нету – только день смелти! Ко мне никто никогда не плидёт... И даже стишков я не знаю никаких – лассказать не могу! Только песенку могу вам спеть, котолую мамка пела... – Мертвушка встала, руки по швам, и затынула: – А лека бежит, зовет куда-то, плывут сибилские девца-ата навстлецу утленней зале, по Ангале, по Ангале, навстлецу утленней зале – по Ангале!

Исполнив, что смогла, Каллиста поклонилась публике и, сорвав жидкие аплодисменты, продолжила:

– Я бедная, отцом в утлобе убитая. Но я тоже хоцу подалоцек сестлице сделать, да... Я, хоть убитая, но я добленькая, да! Пускай... пускай она тоже не очень много повидает зла на земле...

Сана внутри своей Купальщицы вздохнул с облегчением, но мертвушка тут с торжеством договорила:

– И вообще всего... Пускай сестлицу велетёнышко уколёт, когда ей семь годочков исполнится – и она умлёт!

Все дружно ахнули, а Сана, заторопившись, с большим трудом нашел выход из фарфоровой статуэтки, оказавшийся в пятке Купальщицы.

Мертвушка же, отбивая ножками радостную дробь, хвастливо договаривала:

– Вот какой у меня холёсый подолоцек! Вот какая я добленькая девочка!

Сана же вихрем прилетел к столу, от волнения забыв, что выглядит *не* человеком, и не подумав: вдруг и *эти* не увидят его... А главное: *не* услышат...

Но *эти* увидели. И услышали.

Сана, залюбившись перед лицом председателя, торопясь, выговорил:

– Прошу слова!

Ефрем Георгиевич быстро кивнул: говори-де.

– Заключительное слово! – воскликнул Сана. – Она не умрет – только три дня будет спать беспробудным сном. Вот мой дар! Я последний сказал! Мое слово последнее! – но, увидев скептические мины на лицах слушателей, понял, что этого мало, чтобы перебить пожелание Каллисты, и упавшим голосом добавил: – Да, и, конечно, все ваши дары пойдут прахом – после семи-то лет... Не станет она ни красавицей, ни скромницей, ни трудолюбием не будет отличаться, ни послушанием, ни отвагой, ни верностью, богата и знаменита тоже не будет... И... родовое упрямство будет налицо...

– Ничего, зато жить будет! – воскликнул Сашка-солдат, подняв голову от протокола ночного заседания.

А Сана – про себя уже – добавил: «Разве только иногда – редко-редко – проблески будут: ведь что-то же должно остаться, какие-то следы дажбы...»

А Каллиста принялась тут плакать, не утирая слезок, которые капали и капали в пустой бокал, взятый мертвушкой со стола.

Мими тоже разревелась – дескать, бедная, бедная девочка, но кого она жалела: живую или мертвую – Сана не понял.

– Хорошо хоть грамотной станет, – пробормотал председатель и взгляделся в Сану: – А ты кто ж таков будешь?

Сана пожал несуществующими плечами: он бы и сам хотел это знать.

– Вроде не из наших, – задумчиво сказала Мими и, сняв с веревки высохший платочек, старательно высморкалась и засунула платок за край лифа.

Но тут скончавшийся от рака вновь подал свой странный инструментальный голос:

– И... и... и она что ж – убийцей станет?! Нет, не надо... Зачем я... Зачем я пожелал... Отказываюсь, ничего не хочу, никаких поблажек мне не надо, заберите назад ваши обещанья-а! – мужик задрал голову кверху и затрубил горлом на одной ноте.

– Да успокойтесь вы, что ж так кричать-то! – подбежала к новичку Мими и, схватив бокал со слезками Каллисты, подала горлопевцу: – Вот, выпейте валерьяночки!

Тот одним глотком замахнул слезную жидкость. А переставшая плакать мертвушка спрашивала:

– А подолоцки тогда кому? Такие холёсые подалки, они – кому?! Пускай тогда они моей лодной сестлёнке достанутся! Я ей пеледаю ваши далы – вот так вот!

– Ну, не все дары-то, – сказал Сашка. – Ведь некоторые из дарщиков к твоей будущей сестрице никакого отношения не имеют...

– Пускай сначала родится, именуется, а там поглядим, – качнул головой Ефрем Георгиевич. Все это время он пристально глядывался в ракового новичка.

Солдат вновь отвлек его, попросив расписаться под протоколом собрания, председатель поставил свою подпись: косой крест и, сунув тетрадку Сашке, подошел к мужику (который вновь прикрылся горстью), отодвинул ладонь от лица и вдруг воскликнул:

– А ведь я тебя знаю, гусь! Я тебя узнал, чертова ты колода! Ты – зоновский?! Ты... ты... это ты меня ножиком резал... Из-за хлеба... Ты – один из них!

Тихо стало в комнате. И тут кукушка, четвертями отмерявшая время, выскочила из своего часового гнезда и принялась выводить механическое «ку-ку». Все глянули на циферблат... Четыре часа! И в миг *их* не стало в избе, да и стол опустел от яств: ни шампанского, ни штей, даже хлебные крошки исчезли, да и красная скатерка, собравшись, как скатерть-самобранка, пропала.

Только Сана вихрем вился над остроугольным – с изнаночной вмятиной морды – осколком фарфорового медведя, угодившим в зыбку, где спал младенец; белый осколок, распоровши ткань, засел в рядне и в промежутке лыкового плетенья, возле виска Ирины.

А может, то не медведь был вовсе – а большая медведица...

Глава третья ЗАТЕСИ

Отец девочки так и не появился, вместо себя прислал бумагу в конверте, с левой стороны прямоугольника был изображен длинноволосый первопечатник Иван Федоров. Письмо, исписанное нервным мелким почерком, Лилька, прочтя, сноровисто сунула в печь. Ходила несколько дней зареванная – даже на работу не пошла, сказавшись больной. А когда бабка Пелагея – которой почтальонка Зоя Маштакова доложила о письме зятя-студента – стала выпрашивать, чего ж зятек понаписал, Лилька твердо отвечала, что Андрей зовет ее в Свердловск; из общежития-де уйду, надоело, мол, оно, комнату снимем, но дочку, дескать, оставь покамест у матери, поживем для себя...

– Но, – заикнулась Лилька, – ты ведь меня, мама, знаешь, разве ж я могу оставить ребенка, хоть и на время! Я ему написала, что не поеду... И... думаю, я правильно поступила...

– Дура! – тут же откликнулась бабка Пелагея. – Поезжай сейчас же! Пригляжу я за дитем-от! А то одна ведь останешься, помяни мое слово, найдет себе в Свердловске институтку, если уже не нашел... Говорила я тебе: не пускай парня одного, езжай с ним... Как-нибудь бы... А сейчас что... Хотела ехать дале, да кони стали! Взяла моложе себя, разве ж это дело?! – попрекнула Пелагея.

– На два года всего моложе-то! – вякнула Лилька.

– На два с половиной! – уточнила въедливая Пелагея Ефремовна. – Не нагулялся он еще! Двадцать лет – какой из него отец?.. А тебе уж двадцать три стукнуло! И дите останется безотцовщиной, ох ведь! Давай-ко собирайся... Да звал ли он тебя, Лиль? – всполошилась тут Пелагея.

– Да звал, звал, – отводя глаза, отвечала Лилька. – Пойду погляжу, как там Крошечка... – И в дверях уж бросила: – Не поеду я...

Пелагея Ефремовна хмыкнула и головой покачала.

После того как младенца записали Ириной, бабка долго не подходила к зыбке и, как уверился Сана, осталась в твердом убеждении, что судьба девочки предрешена: не только слыть ей дурочкой, но и быть... Но делать нечего: мать младенца по полдня скрывалась на работе – приходилось дитенка спать укладывать, кормить-поить, держать над тазиком, выносить на волю...

Иногда Пелагея с ребенком на руках прогуливалась в сторону фельдшерского пункта, откуда незадолго до рождения внучки была, против воли, выдворена на пенсию, но в медпункт, где орудовала новая фельдшерица, отнюдь не заходила, а, скроив брезгливую мину, проходила мимо: к четырехквартирному бараку, где жила ее подруга Нюра Абросимова.

Дома Пелагея сажала ребенка на стол, спиной к простенку, и кормила, старательно подувая в ложку с кашей. Крошечка разевала роток буквой О, всякий раз подаваясь навстречу ложке с манкой. После бабка утирала изгваздавшейся девочке лицо и руки, меняла распашонку и, усадив в угол дивана, совала единственную погремушку. Крошечка размахивала длиннохвостым оранжевым попугаем на манер шашки, которой орудует лихой рубака, – при этом погремушка издавала мелкий звучок сыпавшихся внутри попугайного пуза горошин. Когда пластмассовой погремушкой попадало бабушке в голову, Пелагея Ефремовна, упрятав лицо в ладони, принималась понарошку подхныкивать, наблюдая за ребенком из-за раздвинутых пальцев: Крошечка, вытаращив круглые глазищи, роняла попугая и принималась вторить бабке.

– Вот ведь! Какой робёнок-от жалостный! – качала головой Пелагея Ефремовна. – Блаженная будет... Одно слово: Орина!

«Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, за Кота Котовича, за Петра Петровича! – будучи в хорошем настроении напевала Пелагея, подметывая внучку к сосновому потолку. – Думала за барина, а вышла... за татарина!»

Крошечка была рада-радехонька открывшейся для кошки жизненной перспективе и взахлеб хохотала, показывая все шесть репьяных зубков; но кошка Мавра, развалившись на этажерке, вовсе не одобряла такого веселья, с высокомерным прищуром наблюдая за людьми.

Сана блаженствовал, видя, что все идет ладом, что – до семи годков – с его подопечной все и впрямь будет, пожалуй что, в порядке, можно не беспокоиться. Он решил, что имеет право на заслуженный (будущей деятельностью) отпуск, что можно на годы укрыться в уютных пустотах никому не нужной Купальщицы. Но не тут-то было!

Как-то Лилька оставила младенца на кровати, и Крошечка, переворачиваясь на живот, умудрилась скатиться в промежуток между койкой и стеной, зависнув на плечах так, что одна голова с длинным – в точности как у запорожца – хохлом торчала наружу. Обеспокоенный Сана вынужден был выбраться из своего укрытия: он уселся на спинку кровати, сверху наблюдая за висящей девочкой, ждал, что Лилька вот-вот появится, но время шло – а мать все не приходила... Ребенок почему-то не кричал, а только кряхтел, видать, решившись стоически вынести посланное испытание, а может, Крошечка просто силы сберегала.

Личико младенца приняло уж синюшный оттенок – Сана увидал, как в окошко, в сбитом набекрень чепчике, с беззубой улыбкой на лице лезет Каллиста, протягивая сестренке руку, дескать, пошли-ка, милая, со мной... Сана заорал во всю мочь: «Лилька!» И мать – неужто услышала его! – вбежала в комнату и выдернула дите из ловушки. Каллиста, в досаде стукнув кулачишком по подоконнику, убралась восвояси.

Сана, хоть и понял, что, пожалуй, с девочкой – до семи лет – и вправду ничего критического не случится, но все ж таки решил в другой раз не доводить дела до такой крайности. Дажба дажбой, а кто его знает, что там у ней на Роду-то написано... Всякое ведь бывает: а вдруг кто-нибудь там, наверху, что-нибудь перепутал, скажем, не внес вовремя нужные исправления в бухгалтерскую книгу. А кто после отвечать будет, когда дебет с кредитом не сойдется?!

Когда Крошечка – почему-то не пожелавшая ползать – поднялась на слабенькие ножки и стала пробовать ходить, тревоги Саны с каждым новым шагом младенца стали умножаться.

Вот отважная путница решилась в одиночку пересечь чудовищное расстояние от Спальни – где находилась в данный момент – до Кухни, откуда доносился двоящийся голос матери-бабки, а также зов свежеиспеченного хлебушка, которому никак нельзя было противиться.

Крошечка, перебирая руками по пологу пестро расцветченной кровати, добралась до зыбки и уцепилась за нее – но едва не оказалась унесена под потолок к темным созвездиям сучковых узоров. От неверной зыбки-Рух – пять шагов до дверного проема девочка перебежала не держась *ни за что*; почти упав, схватилась за дверной наличник и остановилась на распутье... Налево пойти: миновать только угол – до следующего дверного проема, но тут горячая скала-печь вдоль дороги... Направо пойти: придется обойти по внутренней стороне букву П с многочисленными препятствиями: шифоньер, круглый стол, застланный ненадежной скатеркой, швейную машинку, фикус в кадке, диван, этажерку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.